

Весь Д. Мережковский

Превращение

Итальянские новеллы

Те, кто бывали во Флоренции, помнят величественный купол собора Мария дель Фьоре — истинно божественное создание человеческого духа. Со времени греков и римлян ничего во всей Европе не было построено столь светлого и разумного. Замысел купола, как бы повешенного в воздухе волей строителя, реющего над городом на страшной высоте, легкого, прекрасного и незыблемо утвержденного по вечным законам механики, казался таким дерзновенным и неисполнимым, когда был предложен на собрании опытных строителей, что архитектора, придумавшего этот план, Филиппо сире ди Брунеллеско сочли безумцем. Чтобы исполнить свой замысел, Филиппо должен был всю жизнь бороться с ненавистью и презрением глупцов, с боязнью и упорством умных людей, не смевших поверить в законы собственного разума.

Великий строитель с виду был важен, мрачен и тих. Но под грубую корую в сердце его таились родники неистощимого веселья. Эта свобода и

веселье — в куполе Санта-Мария дель Фьоре, в светлых, открытых солнцу loggi, легких, как бы воздушных арках и колоннах построенных им галерей, в новой эллинской обнаженности простых и чистых линий созданной им архитектуры. Свобода и веселье были и в жизни Филиппо. Все эти строгие, молчаливые, деловитые флорентинцы с нахмуренным челом любили смех и при всяком удобном случае предавались шалостям, как резвые школьники, вырвавшиеся на волю.

Я хочу рассказать одну из таких шалостей знаменитого архитектора, того, чья жизнь была непрерывным трудом, страданием, борьбою с людьми и напряженною мыслью.

Однажды в городе Флоренции, в 1409 году, воскресным вечером собралось к ужину общество молодых людей в доме одного вельможи, по имени Томмазо де Пекори, человека благородного и умного, любившего повеселиться.

Когда после ужина убрали со стола, подали лакомства и лучшее вино, и все стали громко и непринужденно разговаривать о том и о другом, как это обыкновенно бывает в подобных собраниях, один из собеседников произнес:

— Почему, скажите на милость, сегодня вечером чужак Манетто Амманнати ни за что не хотел прийти сюда, и его никак нельзя было убедить?

Этот Манетто Амманнатини славился как превосходный художник-столяр, мастер деревянных инкрустаций; лавка его, или как во Флоренции говорят, «боттега», находилась на площади Сан-Джованни. Манетто все любили за веселый нрав и весьма почитали его талант, ибо в прекрасном столярном искусстве не было ему равного мастера. Но в житейских делах он был доверчив, прост и неопытен, как ребенок: его обманывали, над ним потешались, что не нарушало его добродушной веселости. Славный был человек Манетто Амманнатини, которого в приятельском кружке за неуклюжесть и высокий рост звали Верзилюю. Лет 28, громадный, широкоплечий, с ясными глазами, с вечно рассеянной улыбкой, с волосатыми, мозолистыми, запачканными лаком и клеем руками столяра, из которых выходили тонкие небесные лица херувимов, веселые, дерзкие рожи сатиров из точеного кипариса и дуба, — Верзила был неисправимым чудаком: несмотря на обычную общительность, вдруг находила на него внезапная прихоть, припадок черной меланхолии, — и тогда он ни с кем не говорил, смотрел как волк на лучших друзей, огрызался, когда его спрашивали, что с ним, и уже никакими силами нельзя его было затащить в приятельский кружок. Потом нелепое чудачество проходило само собою, и Верзила возвращался к друзьям добродушнее и беззаботнее, чем

когда-либо.

К великому прискорбию и досаде собеседников, которые считали его приятным и любезным членом своего общества, одно из этих чудачеств напало на столяра как раз в тот воскресный вечер, когда они собрались к ужину в прекрасный палаццо сире Томмазо де Пекори.

— Этого так оставить нельзя, — воскликнул один из гостей, немного подвыпивший, ударяя кулаком по столу, — надо проучить Верзилу!

— Но, может быть, у него дела, — заступился другой. — Я слышал, что намедни герцогиня Мантуанская заказала ему свадебный сундук...

— Вздор! Я знаю дела его, как свои пять пальцев. Что за работа в воскресенье вечером? Это у него опять меланхолия. Сидит где-нибудь один в таверне и пьянствует. Или, еще хуже, лежит в постели и дрыхнет. Говорю вам, что следует, наконец, хорошенько проучить его за эти чудачества, для его же собственного блага, чтобы он уже более никогда не смел пренебрегать друзьями из-за каких-то дурацких бредней.

— А чем могли бы мы проучить Верзилу? — усомнился третий. — Побить его, что ли? Так ведь шкура у него дубленая — ничем не проймешь. И притом в руках такая силища, что ежели сдачи даст, не поздоровится. Или надуть его, чтобы заплатил за всех по счету в гостинице, — так ведь какой это

урок? Над нами же он посмеется. Денег Верзила не жалеет.

Тогда заговорил бывший в этом веселом кругу друг и почитатель Верзилы, Филиппо сире ди Брунеллески, славный архитектор Санта-Мария дель Фьоре. Лицо у него было и теперь, как всегда, строгое, почти суровое, сумрачное, взор холодный, и только на гладко выбритых тонких губах играла хитрая, пронзительная усмешка, и по этой усмешке собеседники тотчас же поняли, что наступает истинное веселье, — такой смех, от которого животики подведет. У юношей, особенно лакомых до всяких шалостей, даже глаза разгорелись, и все притихли, замерли и ожидали благоговейно, что-то выйдет из уст этого нового оратора. Тогда Филиппо не торопясь, обвел всех глубокомысленным взглядом, как будто речь шла о важном деле, и молвил:

— Любезные друзья, вот что я сейчас придумал. Мы можем сыграть с Верзилой презабавную шутку, которая, полагаю, доставит вам немалую утеху. Шутка моя заключается в том, чтобы убедить столяра Манетто, что он — не он, а совсем другой человек.

Тогда многие стали возражать Филиппо, утверждая, что это невозможно. Но, по своему обыкновению, он с математическою ясностью, как будто дело шло об изящной теореме, привел им

свои доказательства и сумел их убедить, что этот замысел исполним.

Все подробно до последней мелочи обсудили они и составили заговор против злополучного Верзилы. И этот заговор с тем большею легкостью мог им удасться, что во Флоренции все, от мала до велика, от важного седовласого приора, заседающего в Palazzo Vecchio, до босоногого уличного мальчишки, который спускает бумажные кораблики в дождевые ручьи, находятся как бы в непрерывном безмолвном заговоре и всегда готовы помочь друг другу, чтобы посмеяться над простодушным человеком. И нет такого сурового блюстителя законов, нет такого тяжеловесного купца, состарившегося над счетными книгами, который при всяком удобном случае с радостью не пожертвовал бы временем, трудом, даже деньгами, чтобы учинить своему ближнему какую-нибудь веселую школьническую шалость, «beffare», как они там говорят. Флорентинцы смеются над лучшими своими друзьями, и те не думают сердиться, а только в свою очередь ждут удобного случая пересмеять насмешника. Такими создал их Бог, такой у них воздух в Тоскане: недаром есть пословица: «Тосканцы бедовый народ — не клади им пальца в рот». Они иногда и рады бы не смеяться, да не могут. Смех в крови флорентинцев, как соль в морской воде. Вот почему великий

искусник в таких шалостях, Филиппо сире ди Брунеллески, с полной уверенностью составил заговор и знал, что каждый знакомый и незнакомый будет ему всячески служить и способствовать, и он мог обделать это дельце начистоту так, что и комар носа не подточил бы.

Решено было, что на следующий день, в понедельник вечером, начнется Овидиево превращение, или метаморфоза Манетто-Верзилы.

В тот час, когда солнце заходит, желтые пески Арно розовеют и ремесленники запирают потемневшие мастерские, Филиппо зашел в боттегу своего друга, столяра Манетто, на площади Сан-Джованни и весело болтал с ним до тех пор, пока расторопный мальчуган — как было условлено — не прибежал в мастерскую и не спросил, запыхавшись и торопясь, как будто дело было важное и спешное:

— Не в эту ли боттегу заходит иногда Филиппо сире ди Брунеллески, и не здесь ли он теперь?

Филиппо выступил, назвал себя и спросил посланного, чего он желает.

— Идите-ка скорее домой, мессере, — произнес мальчуган, — часа два тому назад с теткой вашей приключилось недоброе, и она при смерти. Вас всюду ищут. Бегите же, не медлите.

Филиппо притворился пораженным дурною

вестью и воскликнул:

— Господи, помоги!.. Этого еще недоставало!..

И тотчас же попрощался с Верзилою, который, как человек добрый и услужливый, молвил с дружеским участием:

— Пойду-ка и я с тобою, Филиппо. Быть может, на что-нибудь пригожусь. Знаешь, в таких случаях всегда полезно иметь около себя друга.

Немного подумав, Филиппо ответил:

— Теперь ты мне не нужен. Но если что-либо понадобится, я сюда пришлю за тобою.

Филиппо пошел как будто по направлению к своему дому, но когда Манетто уже не мог его видеть, повернул за угол и направился к дому Верзилы, находившемуся в узком переулке, как раз наискосок от церкви Санта-Рипарата. Он искусно отомкнул запертую дверь без ключа, тонким лезвием перочинного ножа, вошел в дом и крепко, железным болтом, запер дверь изнутри так, чтобы никто не мог войти. С Верзилою жила мать, которая на эти дни уехала в загородное местечко Полверозу, где у них было имение, — на ежемесячную большую стирку, которую домовитые флорентинские хозяйки, для удобства и дешевизны, устраивают за городом.

Тем временем Верзила, заперев боттегу, прошелся, как это он обыкновенно делал, несколько

раз взад и вперед по площади Сан-Джованни; из головы его не выходила мысль о Филиппо, и сердце было исполнено сочувствия к другу, перед великим гением и умом которого он преклонялся.

Спустя час после солнечного заката, когда наступили сумерки и площадь опустела, Верзила подумал:

«Филиппо так и не послал за мною: теперь уж я, должно быть, ему не нужен».

И он решил вернуться домой. Подошел к своей двери, поднялся на две ступеньки, которые к ней вели, и по обыкновению хотел отпереть, но как ни старался, это ему не удалось. Наконец он заметил, что дверь крепко-накрепко заперта изнутри железным болтом. Верзила подумал и позвал:

— Эй, кто там наверху? Отоприте!

Филиппо, подстерегавший его внутри дома, спустился с лестницы, подошел к двери и сказал:

— Кто там?

Он говорил голосом Верзилы, ибо весьма искусно умел подражать всевозможным голосам. Но тот закричал:

— Отопри же!

Филиппо притворился, что принимает стучавшегося в дверь за Маттео, в которого Верзила, — как они сговорились, — должен был превратиться, сам же Филиппо притворился

Верзилою и молвил так:

— Эй, Маттео, ступай-ка с Богом. Я очень расстроен: у меня в мастерской только что был Филиппо сире ди Брунеллески, когда ему пришли сказать, что тетка его при смерти. Это меня опечалило на весь вечер: я просто не свой. Зайди, братец, как-нибудь в другой раз.

И потом, обернувшись к лестнице, как будто говорил с тем, кто внутри дома, прибавил:

— Мона Джованна, — ибо так звали мать Верзилы, — соберите скорее поужинать. Что это, право, за беспорядки? Вы обещали быть здесь два дня тому назад, а возвращаетесь только сегодня ночью.

И он еще немного поворчал, все время подражая голосу Верзилы.

Верзила, не только услышав свой собственный голос, но и видя во всем, что произносил этот голос, отражение своих затаенных мыслей и чувств, как в зеркале, не мог прийти в себя от изумления и думал:

«Это еще что такое? Не чудится ли мне, будто тот, кто там у двери, — я сам, и будто он мне же, моим собственным голосом, рассказывает, что Филиппо только что был у меня в мастерской, когда пришли сказать, что тетка его заболела?.. И кроме того, он разговаривает с моной Джованной. Экая пакость! Видно, со мной творится неладное. Голова

совсем кругом пошла...»

Верзила спустился с двух ступенек крыльца и немного отошел, чтобы крикнуть в окна дома. В это же время приблизился к нему, как было условлено, знаменитый флорентинский скульптор Донателло, создатель бронзовой статуи Иоанна Крестителя, тоже искусный насмешник, участвовавший в заговоре, друг Верзилы. Как бы случайно проходя в сумерках, Донателло взглянул на него и сказал:

— Доброй ночи, Маттео!

— Не Маттео, а Манетто, — крикнул ему Верзила.

Но Донателло, не останавливаясь, быстро прошел и сказал, как будто не расслышал:

— Да, да, я зайду к тебе завтра поутру, Маттео, — и скрылся во мраке.

— Фу, ты, пропасть! — воскликнул Верзила, — сговорились они, что ли, называть меня Маттео! И померещится же человеку такая дрянь! Надо пройтись, освежиться, и главное — не думать об этом. Тогда все пройдет. А то, черт возьми, этак ведь и спятить немудрено...

И Верзила, понутив голову, медленными шагами удалился от своего дома. Стемнело. Улицы опустели. Ночь была безветренная, жаркая и душная. Как это нередко бывает в Тоскане летом, землю сжигала засуха. Перепадали капли скупого дождя, но прекращались, и бледное, изнеможенное

небо не имело силы разразиться грозой. В эту ночь над холмами Фьезоле громоздились тяжелые тучи, и, как судорожные крылья подстреленной птицы, бледные зарницы трепетали беззвучно и безнадежно над черепичными кровлями домов. Черный мрак был жарок и душен, как черный мех, и от него веял такой же запах, как летом от меховой шубы. Слабый дальний гром напоминал глухие раскаты злого, сумасшедшего, тихого смеха. Кровь ударяла в виски, нечем было дышать.

Верзила остановился, чтобы отереть пот с лица. В это время из подворотни выскочила и шарахнулась ему в ноги черная кошка. Он задрожал, побледнел, ибо был суеверен, и, перекрестившись, начал бормотать: «Ave Maria». А кошка или, может быть, ведьма, отвратительно мяукнув, скрылась.

Верзила слышал, как сердце у него в груди колотится тяжкими, мерными ударами, точно молот о наковальню. Вдруг в мертвой тишине донесся издали, должно быть, из предместья Сан Сеполькро, протяжный, зловещий вой собаки.

«Поскорей бы домой, — подумал Верзила, — да в постель, да головой под одеяло. А то эта ночь — не хорошая, не благословенная... В такую ночь всякая нечисть по земле шляется...»

На душе его было скверно. Ему хотелось не то плакать, не то кричать и бить кого-нибудь, а лучше

всего зарыться в холодную, сырую землю, как слепые кроты зарываются, и там замереть так, чтобы никто его не видел и не слышал.

Он вернулся на площадь Сан Джованни, где находилась его боттега. Здесь было легче дышать. Верзила поднял голову и увидел меж туч, вверху, открытое небо и робкие звезды. Он обрадовался им. Оттуда сверху, как будто от звезд, веяло тихое, едва уловимое дуновение неземной свежести.

«Чего я так перепугался, дурак, — подумал он, ободрившись, — оборотень я, что ли? Какое мне дело до Маттео? Я Верзила — Манетто Амманнатини, столяр, вот и боттега моя. Мало ли что иной раз почудится? На это не надо обращать внимания... Само собою пронесет, как рукой снимет... Вот я похожу здесь немного, подышу чистым воздухом, а потом вернусь домой, отопру дверь ключом, который у меня здесь в кармане... Это еще что за новости, чтобы не пускать человека в его собственный дом?.. Что я — старый шут Каландрино?¹ Смеяться над собой позволю?.. Нет, шалишь, брат... Отопру и войду... И хотел бы я посмотреть на такого человека, который помешает мне сделать это сейчас же?..»

Он уже собирался вернуться домой, как услышал на площади шаги. Верзила обрадовался

¹ Простофиля (*итал.* — *calandrino*).

живым людям и подумал:

«Наверное, встречу знакомых, они назовут меня Верзилою, и все объяснится».

При свете смоляных факелов увидел он, что это были городские стражники флорентийского торгового суда. С ними был нотариус и кредитор того самого Маттео, в которого бедный Верзила ни за что не хотел превратиться. Кредитор приступил к Верзиле и сказал нотариусу и стражникам, вооруженным аллебардами:

— Вот мой должник Маттео!.. Держите его!.. Ага, голубчик, наконец-таки попался мне в руки. Небось, теперь не убежишь!

Стражники суда и нотариус крепко схватили его за руки и собирались увести.

Тогда Верзила обернул свое бледное, растерянное лицо к тому, кто назвал его своим должником, и воскликнул:

— Я тебя не знаю и никогда не имел с тобою никаких дел. Скажи сейчас же, чтобы они меня отпустили!.. Ты принимаешь меня за другого... Слышишь?.. Ты ответишь перед судом за тяжкое оскорбление, наносимое незнакомому человеку... Я — столяр Верзила, и никакого Маттео знать не знаю, ведать не ведаю!

С этим словами он попробовал освободиться от стражников, ибо обладал большою силою. Но их было много, они держали его крепко за руки и не

отпускали. Кредитор подошел к нему вплотную, заглянул прямо в глаза и молвил:

— Как? Тебе нет до меня никакого дела? Неужели я не знаю Маттео, должника моего, и не сумел бы его отличить от столяра Манетто Амманнатини, по прозвищу Верзила?.. Ну, нет, братец, дудки! Этим ты от меня не отвертишься. Долг твой записан в моей счетной книге, и вот уже целый год, как я имею по нашему делу решение торгового суда. Конечно, тебе выгодно отречься и говорить, что ты не Маттео, но теперь ты не выскользнешь, и я заставлю тебя заплатить весь долг до последнего сольдо, и не помогут никакие превращения. Ведите-ка этого оборотня, — мы сейчас увидим, тот ли он, за кого мы его считаем, или кто-нибудь другой!..

Верзила похолодел от ужаса: он вспомнил и черную кошку, и вой собаки, и старую косоглазую нищенку, похожую на ведьму, которая дня два тому назад посмотрела на него «дурным глазом», когда он отогнал ее от порога, не подав милостыни. Звон стоял у него в ушах, сердце билось, как будто твердило ему: «Быть худу, быть худу, ой, смотри. Верзила, быть худу!»

Крича и споря, стражники повели его в торговый суд, и так как время было позднее, то по дороге не встретили ни одного знакомого Манетто. Бедняга был так пристыжен и растерян, что не

сообразил, что в такой час, когда добрые люди, поужинав, ложатся спать, в торговом суде не может быть никакого заседания, кроме шуточного. Теперь все казалось ему возможным. Мысли мешались в его голове, и он встряхивался и щипал себя, чтобы проснуться. Но не так-то легко было проснуться: чары проклятой ночи тяготели над ним, мороз пробегал по коже и он думал:

«Чего только на свете не бывает?.. Что, если со мною случилось такое несчастье от дурного глаза, и я взял да и обернулся в Маттео?..»

В торговом суде нотариус написал мнимую бумагу о заключении Маттео в долговую тюрьму и сделал вид, что прикладывает к бумаге судебную печать. И его повели в тюрьму.

Верзила вступил в залу с высокими сводами и решетчатыми окнами и увидел многочисленных товарищей по заключению. Одни разговаривали, другие пели, третьи играли в шашки, в карты, в кости при свете оплывших сальных огарков. Иные просто лежали на постелях, наслаждаясь праздностью. Все это был веселый, разбитной народ, как будто стоило только попасть в общество несостоятельных должников, чтобы хлебнуть воды из Леты и сразу освободиться от всех человеческих забот и неприятностей. Один уморительный подвыпивший старикашка, по прозвищу Вислоухий, приплясывал и притоптывал под звуки

самодельной скрипицы, ко всеобщему удовольствию, исполняя модную тогда испанскую пляску «равана». Хотя час был поздний, но, по-видимому, спать еще никто не думал, так всем было весело, отрадно на душе.

Увидев входящего Верзилу, они загалдели с единомудушным восторгом:

— Новичок, смотрите, братцы, новичок!

Верзиле казалось, что он умер, и душа его попала в ад. Заключенные спросили стражников, как зовут нового товарища, и когда узнали его имя, то загалдели еще громче:

— Доброго вечера, Маттео! Как ты себя чувствуешь, Маттео? За какие добродетели, Маттео, попал ты к нам в царствие Божие?

Так называли они свою тюрьму.

Верзила стоял растерянный, бледный, щурился на свет, беспомощно моргал глазами, улыбался из вежливости и не знал, как отвечать на приветствия. Ему казалось неприличным и даже зазорным отречься от имени Маттео, которое, по-видимому, крепче пристало к нему, чем колючий репейник к ослиному хвосту. Он решил покориться плачевной участи, разыгрывать роль ненавистного Маттео, и робко, запинаясь и путаясь, объяснил новым товарищам, что попал сюда потому, что не успел вовремя заплатить долга своему кредитору, но что он питает надежду завтра

утром освободиться.

Тогда заключенные сказали:

— Ступай ужинать, Маттео. А потом, если у тебя есть два-три сольди, мы испытаем, хорошо ли ты играешь в кости. Ночь проведешь с нами, а утром иди с Богом. Только мы можем сказать тебе по опыту, что утро вечера мудренее и что отсюда выйти не так легко, как оно кажется с первого взгляда.

Когда наступил час отходить ко сну. Вислоухий, который оказался человеком сердобольным, уступил Верзиле часть своей постели.

Потушили огни, все утихло, и раздался ровный, единодушный храп, ибо несостоятельные должники спали сном праведников. Но Верзила всю ночь не мог уснуть и лежал с открытыми глазами. Удушливый мрак июльской ночи опять навалился на него, как тяжелая, черная меховая шуба. Теперь он уже не видел собственного тела, и, обливаясь холодным потом от ужаса и отвращения, чувствовал ясно, как весь с головы до ног, и внутри и снаружи неудержимо превращается в проклятого Маттео. Верзила казался ему другим человеком, отличным от него как прежде Маттео.

— О, Господи, помоги! — стонал он в отчаянии. — Только бы мне узнать положительно и твердо, кто же я, наконец, Манетто или Маттео? Я

не могу, не хочу быть в одно и то же время обоими. Ну, хорошо, положим, я не Верзила, а Маттео, как это ясно изо всего, что со мной происходит. Что же, однако, мне в таком случае предпринять? Ведь, если я пошлю домой к моей матери моне Джованне, и Верзила окажется там, у нее, то все надо мною будут смеяться и скажут, что я сошел с ума. А с другой стороны, мне все еще кажется, что я — Верзила.

Так бедный столяр — как говорится — заблудился между двумя соснами.

В темноте, где-то над его головой, муха в паутине однообразно бесконечно ныла и жужжала, все тоньше и жалобнее. И ему иногда казалось, что это не муха, а сердце его ноет, бьется и замирает в паутине, из которой нет выхода.

Наконец стало светать. Верзила не без тайного опасения взглянул на свое тело и увидел с радостью, что оно несколько не изменилось за ночь. Он смотрел внимательно на жилистые руки с веснушками, на каждый палец, на каждый волосок и убеждался, что это руки, несомненно, Верзилы, и ноги его и грудь. Он ощупал на щеке своей родинку, и родинка была Верзилина. Все это его несколько ободрило.

«Может быть, — подумал он, — вместе с окаянную ночью рассеялись и дьявольские чары. Только бы мне увидеть знакомого человека,

который знает меня в лицо и скажет всем, что я — Манетто, а не Маттео. Тогда сейчас же все объяснится, и меня выпустят».

Между тем должники проснулись и опять заговорили весело, продолжая называть Верзилу — Маттео, что, впрочем, было не удивительно, так как среди них никто с ним раньше не был знаком.

Он вышел на двор, стал к небольшому окну, проделанному в тюремной двери, и начал смотреть, ожидая с нетерпением, не пройдет ли мимо кто-нибудь из знакомых. К зданию торгового суда, соединенного в те времена с долговою тюрьмою, подошел один знатный флорентийский юноша, по имени Джованни ди Мессер Франческо Ручеллаи, который участвовал в шуточном заговоре, составленном Филиппо сире ди Брунеллески. Джованни, хороший знакомый Верзилы, недавно заказал ему резной балдахин из дерева для Пречистой Девы Марии. Еще намерен заходил он в мастерскую столяра, просил поскорее кончить работу, и Верзила обещал, что дня через четыре балдахин будет готов. Проходя к торговому суду по узкому переулку мимо долговой тюрьмы, Джованни взглянул в окошко и увидел столяра лицом к лицу. Верзила тоже посмотрел и рассмеялся: тогда Джованни с удивлением, как будто прежде никогда его не видывал, произнес:

— Чего ты смеешься, любезный?

— Так себе смеюсь, ваша милость, — молвил добродушный Верзила, надеясь, что Джованни сейчас его узнает. — Скажите мне, пожалуйста, не знаете ли вы некоего столяра Верзилу: его мастерская на площади Сан-Джованни.

— О, да, — ответил Джованни, — я его знаю. Мы с ним друзья, и я сейчас отсюда иду в его боттегу, чтобы поговорить насчет одного заказа.

Когда Верзила услышал эти слова, увидел, что Джованни смотрит ему в лицо и не думает узнавать, то сердце у него так и екнуло, ибо он понял, что и при свете дня злые чары продолжают действовать и отнюдь не рассеиваются, как он сперва надеялся. Мало было ему радости в том, что самому себе казался он прежним Верзилою, если лучшие друзья все-таки принимали его за другого.

— Не окажете ли вы мне одной услуги, мессере? — продолжал Верзила вежливо, преодолев смущение. — Вы ведь сейчас идете в мастерскую Манетто: передайте же ему, что здесь, в долговой тюрьме, находится один из старых друзей его, что он просит Манетто забежать сюда на минутку, чтобы переговорить о важном деле.

Джованни еще раз пристально посмотрел в лицо Верзиле, едва удерживаясь от хохота.

— Хорошо, я с удовольствием исполню вашу просьбу, — молвил он и пошел по своим делам.

А Верзила остался у тюремного окна и, едва

не плача, говорил себе так:

— Конечно, теперь не может быть никакого сомнения: я превратился в Маттео. О, да будет проклят день рождения моего! Ежели я открою то, что со мною произошло, люди назовут меня глупцом, уличные мальчишки будут указывать на меня пальцами. А если промолчу, то могут произойти еще тысячи недоразумений таких же, как вчера вечером, когда меня задержали... И в том и в другом случае будет мне плохо... Посмотрим, однако, придет ли сюда Верзила... Ежели придет, то я расскажу ему все, и увидим, что значит эта притча.

Он прождал у ворот еще некоторое время; но, убедившись, что надежда его тщетна, с тяжелым вздохом отошел, уступил окно другому заключенному и стал в унынии бродить взад и вперед по мощеному тюремному двору.

В числе несостоятельных должников в тюрьме находился старый, почтенный человек, по имени Паоло ди Санта Кроче, бывший судья, опытный легист, славившийся глубокою ученостью по многим отраслям человеческого знания, главным же образом — по церковному и гражданскому праву. Паоло раньше не был знаком с Верзилой, но, видя его мрачным, постоянно вздыхающим, погруженным в раздумье, вообразил, что бедняга сокрушается о долгах, и пожелал несколько

утешить его:

— Ты так горюешь, Маттео, — молвил он, — как будто дело идет о твоей жизни, а между тем, судя по тому, что я слышал, — долг твой ничтожный. В несчастиях никогда не следует терять присутствие духа. Отчего ты не пошлешь за кем-нибудь из друзей своих или родственников и не попробуешь заплатить кредитору, или, по крайней мере, войти с ним в соглашение, чтобы тебя выпустили на волю, и чтобы тебе совсем не впасть в отчаяние?

Когда Верзила услышал, с какой доброотою утешает его судья, то решился открыть ему свое горе. Он отвел ученого мужа в сторону, в дальний угол двора, где никто не мог их слышать, и здесь, то и дело боязливо оглядываясь, обратился к нему с таинственным видом.

— Хотя вы не знаете меня, досточтимый синьор, я, однако, слышал о вас и знаю, что вы — человек ученый и благородный. А потому я решил открыть вам причину моей горести. Не думайте, пожалуйста, что меня сокрушает забота о каком-нибудь пустячном долге, о, нет! Тут, видите ли, дело иного рода...

И, обливаясь слезами, как ребенок, рассказал он ему с начала до конца все, что с ним произошло со вчерашнего вечера, и заключил свою необыкновенную исповедь двумя просьбами:

во-первых, чтобы Паоло ни с кем не говорил о его признании, во-вторых, чтобы он дал ему какой-либо добрый совет или оказал помощь.

— Я знаю, — прибавил Верзила, — что вы целые годы изучали право в Болонском университете и прочли множество книг, в которых рассказывается о всяких чудесах и приключениях. Скажите же мне на милость, случилось ли вам читать во всех этих книгах о чем-либо подобном?

Бедный Верзила, ожидая ответа, смотрел на старого законоведа широко открытыми, недоумевающими глазами, полными слез и надежд. Паоло, услышав его признание и обдумав все про себя, пришел к тому заключению, что надо допустить одно из двух: или что он имеет дело с помешанным, или что все это (как оно и было на самом деле) злая флорентийская шутка. И в том и в другом случае судья считал благоразумным не противоречить Верзиле, а потому немедленно ответил, что неоднократно читал в старых книгах о подобных превращениях одного человека в другого, и что это случай обыкновенный.

— Собственными глазами, — прибавил он, — видел я однажды романьольского поселянина, с которым приключилась точь-в-точь такая же неприятная история, как с тобою.

Верзила побледнел и не находил, что ответить.

— Божественный Гомер, — продолжал ученый невозмутимо, — рассказывает о таком же превращении спутников Улисса² и многих других, которых очаровала колдунья Цирцея. По знаменитой поэме латинского поэта Овидия Назона о «Метаморфозах» видно, с какою необычайною легкостью люди превращаются не только в зверей и в растения, но и в неодушевленные предметы, как, например, — в скалы, планеты, реки и тому подобное.

Верзила слушал, выпучив глаза, открыв рот, затаив дыхание, и можно было подумать, что с ним начинается Овидиева метаморфоза, и он сейчас превратится в дерево или статую.

— Впрочем, ты не предавайся безмерному отчаянию, — успокаивал Паоло беднягу, — судя по тому, что я слышал и читал, если только память мне не изменяет, случается иногда, что потерпевший метаморфозу возвращается в прежний образ. Но, конечно, довольно редко, и тем меньше надежды, чем дольше пребывает он в своей новой оболочке.

— Скажите, пожалуйста, — полюбопытствовал Верзила, — ежели я превратился в Маттео, то, что же случилось с ним, со старым Маттео?

— Несомненно, — ответил ученый, — Маттео

² Улисс — латинская форма имени Одиссей.

превратился в Верзилу.

— Ну, хорошо, — молвил столяр, — мне, однако, было бы интересно увидеть, каков-то этот новый Верзила.

Среди таких разговоров наступило послеобеденное время. Двое братьев Маттео пришли в долговую тюрьму и спросили нотариуса-казначая, не находится ли в заключении их брат по имени Маттео, и как велик долг, за который его задержали, ибо они, мол, его братья и желают заплатить, чтобы Маттео выпустили на свободу. Нотариус, участвовавший в заговоре, так как он был закадычным другом Томмазо де Пекори, ответил, что, действительно, Маттео находится в тюрьме, сделал вид, что перелистывает тюремные книги, и сказал:

— Он посажен в долговую тюрьму за такую-то и такую-то сумму, по требованию такого-то и такого-то кредитора.

Все это Верзила слышал и видел со двора.

— Мы желали бы, — сказали братья, — поговорить с Маттео, а потом доставить деньги.

И, подойдя к тюрьме, попросили одного из заключенных, который смотрел в окошко:

— Будь добр, скажи Маттео, что пришли братья, чтобы освободить его из тюрьмы. Мы желали бы с ним переговорить.

И, взглянув в окошко, они узнали судью

Паоло ди Санта Кроче, который беседовал с Верзилою. Услышав, что его спрашивают братья, он спросил законоведа, что случилось с его романьольским поселянином, и когда Паоло сказал, что превращенный уже никогда не возвращался к своему первоначальному виду, то Верзила еще более опечалился, подошел к решетке и поздоровался с гостями.

Старший из братьев молвил так:

— Ты помнишь, Маттео, как часто мы советовали тебе бросить дурную жизнь, которая несомненно приведет и тело и душу твою к гибели. Бывало, то и дело предостерегали мы тебя: «Ой, смотри, Маттео, что ни день, навязываешь ты себе на шею все новые и новые долги, сегодня: одним, завтра с другим, никому не платишь, и вследствие безумных трат, до коих доводит тебя игра и другие скверные пороки, у тебя нет в кармане ни одного сольдо». Видишь, любезный, то, что мы предсказывали, исполнилось. Кредиторы упрятали тебя в долговую тюрьму... Легко ли это нам, братьям... А? Какое пятно для честного нашего имени... Слушай, вот мы говорим в последний раз, Маттео, и ты хорошенько заруби себе это на носу: на гадкие прихоти ты уже расточил целое сокровище, а потому, если бы не заботы о нашем добром имени и о твоей бедной матери, которая молит за тебя и не дает нам покоя,

мы оставили бы тебя здесь покорпеть, чтобы ты несколько пришел в себя и опомнился. Но уже так и быть, еще на этот раз мы тебя освободим и уплатим долг: но смотри, ежели ты опять сюда попадешь, то придется посидеть здесь дольше, чем хочется. Пока об этом довольно. Мы придем за тобой сегодня вечером к Ave Maria, в сумерки, когда на улицах мало народу, для того чтобы какие-нибудь знакомые не увидели нас в тюрьме и чтобы не было лишних свидетелей нашего стыда, и нам не пришлось еще более краснеть за тебя.

Верзила сделал вид раскаявшегося грешника, ответил им благоразумными словами и торжественно обещал исправиться, изменить жизнь и отказаться от гадких расточительных привычек, чтобы более не причинять такого стыда их честному дому. Он умолял их ради Христа не покидать его в долговой тюрьме и прийти в условленный час. Они повторили обещание и удалились, а Верзила отошел в сторону и молвил так законоведу:

— Все более удивительные вещи происходят со мною, мессер Паоло: только что были здесь двое братьев того самого Маттео, за которого меня все принимают, говорили со мною, как с Маттео, и прочли мне целое нравоучение, пообещав сегодня в сумерки, к Ave Maria, прийти сюда и освободить меня. Но вот вопрос, — прибавил он в горьком

недоумении, — если меня отсюда выпустят, куда же я денусь? В мой дом я уже не могу вернуться, ибо там живет Верзила, и начни я только с ним объясняться, — меня непременно сочтут за помешанного и подымут на смех, ибо я ведь знаю, какой бедовый народ флорентийцы. С ними надо держать ухо востро. А с другой стороны, мне теперь кажется несомненным, что Верзила живет в моем доме, у Санта Репарата, ибо если бы его там не было, то, конечно, моя матушка стала бы меня всюду искать и только потому, что видит Верзилу, не замечает она своей горестной ошибки.

Паоло с трудом удержался от смеха, и эта великолепная, истинно флорентийская шутка, в которой он узнавал руку большого мастера, каким и был на самом деле строитель Филиппо сире ди Брунеллески, доставила ему немалую утеху.

— Не ходи в свой дом, — посоветовал он Верзиле, — ступай за теми, которые считают себя твоими братьями. Слушайся их и делай, что они тебе скажут. Уж если, брат, на то пошло, то теперь главное — окончательно и, так сказать, чисто-начисто превратиться в Маттео, чтобы в тебе от Верзилы и духу не осталось.

Верзила покорно, но тяжело вздохнул: ему было жаль себя; как-никак, а он все-таки любил Верзилу: ему казалось, что этот новый столяр Манетто ни за что не кончит как следует начатого

херувима в раме из черного дерева и, пожалуй, перепортит всю работу. Он готов был плакать от грустной нежности к старому Верзиле.

Наступил вечер, пришли братья Маттео и сделали вид, что удовлетворяют кредитора, уплачивают тюремной кассе и получают расписку. Тогда нотариус встал, взял связку ключей, подошел к двери и спросил в окно:

— Кто из вас Маттео?

Верзила выступил вперед и произнес:

— С вашего позволения, мессере, я самый и есть Маттео...

Нотариус посмотрел на него пристально и сказал:

— Вот эти твои братья уплатили долг: ты свободен, Маттео.

И он открыл ворота тюрьмы, выпустил Верзилу и молвил:

— Ступай с Богом!

Так как было уже темно, то мнимые братья поскорее повели его в свой дом у Санта Феличита, в переулке, как раз там, где подъем в Сан Джоржо. Они вошли с ним в комнату нижнего этажа, вровень с землею, и сказали:

— Посиди-ка здесь до ужина, Маттео.

И притворились, что делают так, не желая пускать сына на глаза больной матери, чтобы не расстраивать ее на ночь.

Один из братьев остался посидеть с Верзилюю, а другой тем временем пошел к приходскому священнику Санта-Феличита, их духовному отцу, который был немного простоват, но человек прекрасный. И брат сказал ему так:

— Я прихожу к вашей милости с полным доверием, как это водится между добрыми соседями. Надо вам сказать, что нас у матери трое братьев, из которых одного зовут Маттео. За некоторые неуплаченные долги посадили этого самого Маттео в тюрьму, и заключение, должно быть, так сильно подействовало на него, что мы боимся, не сошел ли он с ума. Впрочем, у него только одно больное место, а во всем остальном он еще прежний Маттео: он, видите ли, вообразил, что превратился в другого человека, и ни за что не хочет отказаться от этой нелепой мысли. Слыхали ли вы когда-нибудь о такой странной выдумке? Маттео утверждает, что он более не Маттео, а столяр Верзила, у которого боттега на площади с церковью Сан-Джованни, а дом недалеко от Санта-Мария дель Фьоре. И в этом мы не могли его разубедить никакими доводами, а потому поспешили взять из тюрьмы, привели домой, посадили в отдельную комнату, чтобы по городу не начали говорить о сумасшествии, тем более что он еще, может быть, и придет в себя, ибо вы ведь знаете, кто раз по этой дорожке прошелся, на того

потом всегда смотрят как-то косо, если даже к нему и вернется рассудок. Кроме того, мы не хотели бы, чтобы наша мать узнала о его помешательстве: из этого могут выйти неприятности. Женщины так легко пугаются, она же старая и больная. А потому и решили мы просить вашу милость — из сострадания к нам зайти в наш дом, чтобы поговорить с братом и попробовать, нельзя ли как-нибудь разубедить его в этой нелепой мысли. За услугу были бы мы вам по гроб благодарны.

Священник, как человек добрый, охотно согласился, ответил, что, поговорив с Маттео, сейчас увидит, в чем тут дело, и представит ему такие ясные доводы, что с Божией помощью надеется вытащить этот гвоздь, как бы крепко он ни засел в его голове. Тогда брат Маттео привел его к себе в дом и вошел с ним в ту комнату, где находился Верзила. Когда Верзила, погруженный в свои мрачные мысли, увидел входящих, то сейчас же встал, а священник молвил:

— Доброй ночи, Маттео!

— И вам также доброй ночи, — ответил Верзила. — Что скажете, отец?

— Я пришел, любезный Маттео, чтобы кое о чем поговорить с тобой.

Священник сел и сказал Верзиле:

— Сядь-ка вот здесь, рядом со мною, и я тебе скажу, какая у меня к тебе надобность.

Верзила, чтобы не противоречить, уселся рядом, и священник начал так свое увещание.

— Причина, по которой я сюда пришел, Маттео, есть одно дело, весьма меня огорчающее. Судя по тому, что я слышал, наемни тебя посадили в тюрьму за долги и, говорят, ты так принял это к сердцу, что легко можешь лишиться рассудка. Между прочими глупостями, которые ты делал или делаешь, ты утверждаешь, что ты уже более не Маттео, а другой человек, некий столярных дел мастер, по прозвищу Верзила. Не похвально, сын мой, весьма не похвально, что из-за ничтожной неприятности допустил ты в сердце свое такое безмерное отчаяние, которое сделает тебя, вследствие твоего упрямства и неразумия, жалким посмешищем людей. И все из-за каких-то шести дукатов... Ну, стоит ли, почтенный, так сокрушаться? Тем более, что они уже уплачены!

Священник ласково пожал ему руку и продолжал так:

— Любезный Маттео, злого я тебе не посоветую: оставь-ка ты эту прихоть, говорю тебе, как родному сыну: обещай мне, что отныне ты уже не станешь возвращаться к своим глупостям и опять примешься за обычные дела, как подобает человеку здравомыслящему и как поступают прочие люди, чем ты доставишь великое утешение братьям своим, мне и каждому, кто только желает

вам доброго. Разве этот Верзила такой удивительный мастер, что ли, или такой богач, что ты лучше хочешь быть им, чем собою? Ну, какая тебе в этом корысть? Допустив даже, что он — человек достойный и богаче твоего, — а ведь это не так, судя по тому, что я слышал от твоих братьев, — утверждая, что ты в него превратился, ты тем самым не приобретаешь ни его достоинств, ни его денег. А между тем, если в городе узнают, что ты сошел с ума, то уже, конечно, ты — человек погибший: хотя бы потом и выздоровел, и сделался мудрее царя Соломона, все-таки люди будут говорить, что ты помешанный. Короче сказать, опомнись, будь человеком, а не скотом, и брось все эти пустяки свои — убедительно прошу тебя об этом. Какой там Верзила или не Верзила? Послушайся меня, тебе же будет лучше!

И старик смотрел ему в глаза с отеческою добротою. Когда Верзила услышал совет, хорошенько взвесил в уме своем и обдумал каждое слово священника, то уже более не сомневался, что он — Маттео, и, не размышляя, ответил, что готов сделать все, чтобы быть приятным священнику, который, как это он ясно видит, заботится о его благе. Он обещал употребить все силы, чтобы более не допускать в свой ум мысли, что он — не он, то есть не Маттео, и чтобы окончательно выбить Верзилу так, как будто его никогда не

существовало. Но вместе с тем он просит как о единственной милости, если это возможно, в последний раз поговорить с Верзилою, чтобы уж совсем убедиться.

— Это принесло бы тебе более вреда, чем пользы, — возразил священник. — Я вижу, что эта нелепая мысль все еще не вышла из твоей головы. Ну посуди сам, для чего тебе говорить с Верзилою? Какие такие у тебя с ним могут быть дела? Чем больше ты будешь говорить, чем больше будет свидетелей твоего безумия, тем больший позор ты навлечешь на своих братьев.

Так убеждал он Верзилу, пока, наконец, тот не согласился и не отказался от своего желания переговорить в последний раз с Верзилою. Тогда священник вышел и рассказал братьям, как он убедил Маттео и как тот обещал ему не настаивать более на своей нелепой мысли. Затем он попрощался с ним и пошел домой. Один из братьев, пожимая ему руку, вложил в нее серебряный гроссо для того, чтобы сделать все это еще более вероятным. Тем временем, пока священник убеждал Верзилу, в дом потихоньку вошел Филиппо ди сире Брунеллески, и в отдаленной комнате среди бесконечного смеха и веселья братья рассказали ему, как привели Верзилу из тюрьмы, что говорили ему по дороге, и все прочее. Филиппо налил большой кубок вина, подсыпал в него снотворного

порошка и сказал одному из братьев:

— Надо, чтобы Верзила во время ужина выпил это вино — напиток безвредный, от которого он уснет так крепко, что не почувствует в течение двух часов, если бы его стали сечь розгами. Часам к пяти я снова наведаюсь, и мы тогда устроим все.

Братья вернулись в комнату Верзилы и сели за ужин, когда уже прошел третий час по закате солнца. Во время ужина поднесли они ему усыпительного напитка так ловко, что он не заметил, как проглотил его. Скоро лекарство начало действовать, и Верзила с большим трудом держал глаза открытыми — так хотелось ему спать.

Тогда братья сказали ему:

— Маттео, ты, кажется, падаешь от усталости. Должно быть, эту ночь ты плохо спал?

Они угадали верно.

— Признаюсь, — молвил Верзила, — мне никогда во всю мою жизнь не хотелось так спать. Кажется, как будто я целых два месяца не спал. Лягу-ка я в постель...

Он начал раздеваться, но едва имел силу снять обувь и броситься в постель, как тотчас же захрапел. В условленный час вернулся Филиппо ди сире Брунеллески с шестью товарищами и вошел в комнату, где спал Верзила. Они потихоньку взяли его, положили на носилки вместе со всеми одеждами и отнесли в дом его, который стоял

совершенно пустым, так как мать еще не возвращалась из имения. Здесь уложили его в кровать, рядом бросили платье на то место, на которое он обыкновенно его клал, но самого Верзилу повернули головой туда, где должны были находиться его ноги. Потом взяли ключи от боттеги, которые висели на крючке в спальне, отперли лавку, вошли в нее, перемешали, перепутали все его столярные инструменты, повынимали из плотничьих стругов все железные языки, вложили их, повернув острыми концами вверх, а толстыми вниз. То же самое проделали они со всеми молотками и топорами и во всей мастерской произвели такой беспорядок, такую путаницу, как будто здесь перебивало сто тысяч дьяволов. Потом опять заперли лавку, отнесли ключи на прежнее место в спальню, заперли и там двери, вернулись домой и легли спать. Верзила, одурманенный снотворным зельем, проспал всю ночь, ни разу не просыпаясь. На следующее утро к часу Ave Maria в соборе Санта-Мария дель Фьоре кончилось действие усыпляющего напитка: он проснулся, открыл глаза и при свете солнца, проникавшего в окна, узнал собственную спальню, мало-помалу стал припоминать все, что с ним приключилось, и когда понял, что он опять в своем доме, на своей постели, то великое изумление и радость овладели им. Припомнил он также

священника и дом Маттео, где он вчера уснул, и вдруг на него напало сильное сомнение, тогда ли ему это снилось, или теперь Правдою казалось ему то одно, то другое; сон сливался с действительностью, проникал в нее, смешивался, и невозможно было провести границы между тем, что было, и тем, что снилось.

За ночь прошла гроза. Воздух освежился. Голубое небо виднелось в окнах, такое нежное и радостное, что Верзила, несмотря на все свои сомнения, почувствовал веселье. Он соскочил с постели, оделся, взял ключи боттеги, побежал туда, отпер и увидел мастерскую в беспорядке, все железные инструменты перевернутыми и перепутанными, чему весьма удивился. Мало-помалу привел он все в порядок, поправил и положил на обычное место. В это время в боттегу вошли двое братьев Маттео, и один из них сказал Верзиле так, как будто раньше никогда его не видел:

— Доброго утра, маэстро.

Верзила обернулся, узнал их, покраснел, но тотчас же ответил:

— Доброго утра и доброго года. С чем приходите, господа?

Тогда один из братьев молвил:

— Я сейчас объясню тебе все. Есть у нас брат, по имени Маттео. намедни его посадили в

долговую тюрьму, и от горя он едва не сошел с ума. Между прочим, утверждает, что он уже более не Маттео, а хозяин этой мастерской, которого зовут Верзилою. Мы его всячески уговаривали образумиться и вчера вечером привели к нему приходского священника, которому Маттео обещал отказаться от своей нелепой выдумки, так что, чувствуя себя недурно и поужинав, он при нас лег спать. Но сегодня утром он незаметно убежал, никто не знает куда. Вот почему мы и пришли в эту лавку, чтобы проведать, не заходил ли он сюда, или, по крайней мере, не может ли Верзила что-нибудь сообщить нам о нем.

При этих словах у бедного Верзилы в глазах потемнело, холодный пот выступил на теле.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — возразил он дрожащим голосом, — и чего вам от меня нужно. Никакого Маттео здесь не было, и ежели он, в самом деле, выдает себя за меня, то с его стороны это большая наглость. Клянусь спасением души моей, если только когда-нибудь я с ним повстречаюсь, то спине его придется испробовать Верзилиных кулаков, и тогда мы увидим достоверно, я ли — он, или он — я. Что это еще за чертовщина происходит в последние дни, от которой нельзя никуда деваться?

С этими словами он схватил плащ, яростно захлопнул двери боттеги, повернул спину двум

братьям, корчившимся от безмолвного хохота, и большими шагами, все время грозя и ворча себе под нос, направился в собор Санта-Мария дель Фьоре.

Здесь он начал ходить взад и вперед, как разъяренный лев, — так был озлоблен всем, что с ним происходило. Туда же в собор зашел случайно товарищ его, который вместе с Манетто учился столярному и токарному ремеслу у знаменитого маэстро Пеллегрино в Терма. Этот молодой человек несколько лет тому назад уехал из Флоренции, переселился в Венгрию и здесь стал получать много заказов благодаря покровительству другого флорентинца — Филиппо Сколари, который в то время был главным военачальником в армии Сигизмунда, сына чешского короля Карла. Этот Филиппо Сколари благосклонно принимал всех приезжих флорентинцев, которые отличались знаниями или искусством, и оказывал им всяческую помощь, так как был человеком великодушным, любил земляков своих и заслуживал их любовь, оказывая им многие благодеяния.

В то время приехал во Флоренцию столяр, товарищ Верзилы, поселившийся в Венгрии, рассчитывая найти и взять с собой какого-нибудь флорентинского мастера, который помогал бы ему в работе, так как он имел столько заказов в Венгрии, что уже не мог один справиться. Неоднократно приглашал он Верзилу, объясняя

ему, как легко им было бы за несколько лет разбогатеть в этой стране.

Увидев его в соборе. Верзила сказал:

— Ты уже много раз приглашал меня поехать в Венгрию, но я отказывался. Теперь, вследствие одного странного приключения и некоторых несогласий с моею матерью, я окончательно решил принять твое предложение, если, впрочем, ты еще по-прежнему желаешь меня взять с собою. Мне хотелось бы уехать завтра же утром, ибо в случае замедления что-нибудь снова могло бы мне помешать.

Молодой человек ответил, что он весьма рад, но завтра утром не может выехать, так как у него есть еще некоторые дела во Флоренции, но ничто не мешает Верзиле завтра же отправиться в Болонью и подождать его там, куда и он подоспеет через несколько дней. Верзила согласился, и они ударили по рукам. Маннето вернулся в боттегу, взял свои инструменты, некоторые мелочи, которые удобно было увезти с собою, пошел в предместье — «борго» Сан-Лоренцо, нанял лошадь и на следующее утро направился в Болонью, оставив письмо своей матери, в котором заключалось, что она может взять себе в подарок все, что есть в его мастерской, и продать, чтобы выручить деньги, и что он, побуждаемый большою неминуемой опасностью, грозящею ему в родном городе, на

некоторое время уезжает в Венгрию.

Так Верзила уехал из Флоренции, подождал в Болонье своего товарища и вместе с ним отправился в Венгрию, где их дела так хорошо устроились, что через три-четыре года, благодаря покровительству названного Филиппо Сколари, они разбогатели.

Впоследствии Верзила, женившись на красивой венгерке, достигнув славы и преуспевания, вполне довольный своею судьбою, вернулся во Флоренцию, которую он все-таки любил с нежностью, как родную мать, и считал прекраснейшим городом в мире, и зажил здесь припеваючи. Он навсегда излечился от припадков черной меланхолии, и однажды, в беседе с Филиппо сире ди Брунеллески, когда тот расспрашивал его, по какой причине он переселился в Венгрию, Верзила откровенно и подробно рассказал ему о своем чудесном превращении.

Две России

«Св. Лев, моли Бога о нас!» — в одном письме от 1858 года гр. Александра Андреевна Толстая предсказывала полушутя, полусерьезно, что обратится когда-нибудь с этими словами к племяннику своему Л. Н. Толстому.

По мере того как образ его отходит в вечность, предсказание исполняется.

Тут разделение, как бы бездонная трещина, между двумя Россиями. На поверхности кажется, что трещина проходит только в политике; но вот по Л. Толстому видно, как то, что кажется в России политикой, есть в глубине религия, как связана политика с религией. Всем своим сознанием он отрицал, всем своим бытием утверждал эту связь. Что же сильнее, отрицание или утверждение? Каков общественный смысл этого религиозного явления? Совершаются ли, совершатся ли судьбы России с ним или против него? Вот вопросы, на которые 50-летняя переписка его с гр. Александрой Андреевной отвечает с большею ясностью, чем все, что мы до сих пор знали о нем.

Действительная или кажущаяся безобщественность, «аполитичность» Толстого происходит из первозданного свойства его, из той «дикости», которую он сам в себе чувствовал и которая, может быть, и есть главный источник его

гениального творчества.

«В вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович татуировался, — пишет он гр. Александре Андреевне. Федор Иванович Толстой — знаменитый «американец»³, «алеут» Грибоедова, московский барин, исполнивший на деле совет Ж.-Ж. Руссо, опростившийся до дикости. То, что у предка было дурачеством, у потомка сделалось мудростью. Эта толстовская «дикая» мудрость есть отрицание или, по крайней мере, обесценение всего условного, искусственного, изобретенного, механического, созданного руками человека, т. е., в последнем счете, культурного, и утверждение всего простого, живого, естественного, органического, богозданного, нерукотворного, стихийного.

Вот камень на камне лежит первобытно, естественно, дико — это хорошо; но вот камень на камень положен — это уже не так хорошо; а вот камень с камнем скреплен железом или цементом, это уже совсем плохо: тут что-то строится, все равно что — дворец, казарма, тюрьма, таможня, больница, бойня, церковь, публичный дом, академия; все, что строится, — зло или, по крайней мере, благо сомнительное; несомненное — лишь то,

³ Толстой Федор Иванович, «американец», князь (1782–1846) — двоюродный дядя Л. Толстого.

что растет. Первая толстовская «дикая» мысль при виде какого бы то ни было строения — сломать, разрушить, так чтобы не осталось камня на камне и опять все было бы естественно, дико, просто, чисто. Природа — чистота; культура — нечисть. Или, говоря языком новейшей философии Бергсона⁴: утверждение «инстинкта» и если не отрицание, то обесценение «интеллекта».

Хорошо это или дурно? Может быть, хорошо; может быть, дурно, смотря по тому, куда приведет, чем кончится. У Толстого это хорошо кончилось. Ему надо было отрицать то, что он отрицал, для того чтобы утвердить то, что он утверждал; а он утверждал великие ценности религиозные.

Религия еще не культура, но нет культуры без религии, как нет залежей теплоты солнечной — каменноугольной руды — без солнца. Черта сознательной «дикости» почти всегда отделяет одну культуру от другой. Эта бездонная вулканическая трещина — начало землетрясения. Так, Руссо — предтеча революции. Может быть, и Толстой — тоже предтеча?

«Он похож на слона, которого пустили в цветник и который на каждом шагу топчет прекраснейшие цветы, сам того не замечая», —

4 Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ-интуитивист.

приводит Александра Андреевна отзыв Тургенева о Толстом.

Ко всему искусственному — неуязвимость, непроницаемость, толстокожесть, как у слона в ступне; ко всему естественному — чувствительность неимоверная, почти болезненная, тонкокожесть, как у того же слона в хоботе.

Не только цветы в цветнике, но и хлеб в поле топчет слон. Презрение Толстого к «политике», к общественности — такое топтание хлеба насущного.

«Почему вы говорите, что я поссорился с Катковым? — пишет он в 1865 году, когда сотрудничает в «Русском вестнике». — Я и не думал... Мне совершенно все равно, кто бы ни душил поляков или не взял Шлезвиг-Голштейн... И мясники бьют быков, которых мы едим, и я не обязан обвинять их или сочувствовать».

Это дико уже не мудрою дикостью; бесстыдно, бессовестно: напоминает каннибальскую татуировку «американца» Толстого, который скинул фрак и ходит нагишом.

Тогда он говорил шутя о политике, а потом уже серьезно, но с не меньшею дикостью. Если бы когда-нибудь осуществился христианский анархизм Толстого, этот «прыжок из царства необходимости в царство свободы», — не поздоровилось бы костям человеческим. Зачем растить хлеб, когда можно

превратить камни в хлебы? «Стоит людям сговориться» — и все будут сыты. Это, в сущности, та же прогулка слона по хлебному полю.

Нужно было раскалейное железо русской политики, чтобы прожечь слоновью кожу.

Однажды, летом 1862 года, прискакали в Ясную Поляну три тройки с жандармами, и начался обыск. «Что они искали, до сих пор неизвестно, — сообщает Лев Николаевич Александре Андреевне. — Какой-то грязный полковник перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех; перечитал две переписки, за тайну которых я отдал бы все на свете, и уехал, объявив, что он подозрительного ничего не нашел. Счастье мое, что меня тут не было, — я бы его убил».

Он хочет писать государю и бежать из России, «где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут».

Вот когда он понял, что значит «политика»; вот когда от раскаленного железа толстая слоновья кожа задымилась, закоробилась. «Я убил бы его!» — это не в шутку сказано. Хотя бы только в мыслях, на одно мгновение, он был убийцей. Потом, когда учил «непротивлению злу», жаль, что не вспомнил этого мгновения.

Не вспомнил, забыл, как будто ничего и не

было. Обожженное место зажило.

«Я спокоен и счастлив... Внешняя жизнь моя все та же, т. е. лучше не могу желать... Les peuples heureux n'ont pas d'histoire ⁵ ... Немножко есть умных и больших радостей и толстый фон — глупых». Толстый фон — толстая кожа слона. Опять презирает политику. «Я живу хорошо... Три года не читал, и теперь не читаю ни одной газеты». Впрочем, и тогда, в самую минуту боли, презирает или делает вид, что презирает политику. «Если вы меня помните с моей политической стороны, то вы знаете, что всегда я был совершенно равнодушен к либералам, которых презираю от души».

И вдруг опять обжог.

«Я под следствием, под арестом, — пишет он в 1872 г., ровно через десять лет после того обыска. — Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать... Я умру от злости... Я убедился, что они ненавидят меня... Я решил перебраться в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будут у нас обеспечены».

Опять под слоновьей ступней не цветы, а железо каленое.

Иногда кажется, что вообще, понимал, но не

⁵ Счастливые народы не имеют истории (фр.). — Ред.

хотел понять, закрывал глаза, чтобы не видеть. Гений есть внимание — внимание к одному-единственному и невнимание ко всему остальному. Ему надо было ко всему ослепнуть, чтоб увидеть одно.

«Заговорили об Евангелии, — рассказывает Александра Андреевна в своих «Воспоминаниях». — Тургенев отнесся к нему с каким-то неприятным пренебрежением, как к книге, ему мало известной.

— Быть не может, чтобы вы никогда не читали Евангелия? — спросила я.

— О, нет, читал, и даже скажу, что св. Лука и Матфей довольно интересны; что же касается до св. Иоанна, то о нем и говорить не стоит».

«Дикий» Толстой — слон, топчущий цветы. Но вот и Тургенев, культурнейший из культурных людей, тоже, хотя и в ином цветнике, топчет цветы. Это уже — не дикость, а одичание — одичание в самой культуре. Мы думали, что культура есть творчество ценностей; но вот оказывается, что она может быть и разрушением ценностей, и притом таких, к которым сама она относится, как каменноугольные копи — залежи теплоты солнечной — к солнцу. Плевать на Венеру Милосскую — дикость, а плевать на Евангелие — культура высшая? Если это так, то Толстой, отрекаясь от нее, пожалуй, знал, что делает: от

одичания спасался дикостью. Снявши голову, по волосам не плачут; не плачут о культуре, снявши голову ее — религию.

Тургенев над Евангелием — петух над жемчужным зерном; Толстой — купец, продавший все свое имение, чтобы купить одну жемчужину. Отрекся от культуры, от Христа отрекшийся, чтобы со Христом остаться.

Отрицание культуры старой — утверждение новой, а между ними — черта дикости, вулканическая трещина, начало землетрясения, которое изменит лицо земли.

Землетрясение он знал, и по сравнению с этою бурю подземного все наши земные бури казались ему ничтожными.

В Западной Европе освобождение религиозное, реформация, предшествовало освобождению политическому; в России оба эти освобождения совершаются вместе. Россия рождает двойню — вот почему роды так трудны и медленны.

Общественные судьбы России совершаются так, как будто Л. Толстого вовсе не было. Но если суждено совершиться русской реформации, то Россия вспомнит, что он был. В его судьбе — судьба России.

Иногда над самой серединой смерча сияет, в прорыве туч, ясное небо: аполитичность,

безобщественность Толстого — такое ясное небо над смерчем. Его религия — неподвижная точка политики, но вокруг нее движется, крутится смерч.

В глубочайшую связь новой религиозной личности с новой религиозной общественностью дает заглянуть 50-летняя переписка его с Александрой Андреевной Толстой.

По внешности это — обыкновенная светская женщина, со всеми слабостями и предрассудками светских людей. Несмотря на большой природный ум, она кажется иногда почти неумной, суетной и мелочной.

«Графиня Софья Андреевна с трудом переносила общество Сютаева⁶ и ему подобных проходимцев из самых низших сфер, — рассказывает она в своих «Воспоминаниях». — Достаточно было быть оборванцем или отщепенцем, чтобы возбудить интерес в Л. Н.; зато эполеты, аксельбанты, генеральский чин и всякий выдающийся пост внушали ему непреодолимое отвращение».

Но это только внешность. По мере того как вглядываешься, светская шелуха спадает и ядро

⁶ Сютаев Василий Кириллович (1820–1892) — крестьянин Тверской губернии, непротивленец. Как основатель религиозно-нравственного учения оказал влияние на Толстого.

обнажается — глубокая душа человеческая. Рядом с Толстым это — не маленький человек рядом с великим, а равный с равным. Иногда, как будто вспомнив, с кем имеет дело, она принижается, но тотчас же опять подымает голову, и они опять равны.

Кто-то сказал: все люди необыкновенны. Если это так, то разница между великими и малыми только в том, что у тех величие явное, у этих — тайное; а в последнем счете все человеческие души равны, потому что все бесконечны.

«Мы стоим на противоположных полюсах; это мне очень тяжело, но сердце рвется к вам более, чем когда-либо», — пишет она. Два полюса — две России. Эта полувековая переписка — полувековой спор двух России, прошлой и будущей.

Несмотря на расхождения вечные, вечно сходятся, тянутся друг к другу, как полюс к полюсу.

«Убежденная православная с молодых лет до глубокой старости, Александра Андреевна силилась переделать его на свой лад, ужасалась его взглядам, в минуты отчаяния уничтожала его письма, готова была топтать его сочинения, но любила его», — говорит издатель писем. Да, любила и ненавидела вместе. А он ее только любил. «Мне с вами веселей идти, как легче идти через перекладину, когда знаешь, что есть рука, за которую можно

ухватиться... Одною я бы желал — более чувствовать, что моя протянутая рука вам так же нужна, как мне — ваша». Над какую пропастью их руки протянуты, оба знают и все-таки не разделяют их.

Она старается быть сдержанной, но то и дело «взлетает на воздух, как ящик с порохом».

«Он издевался над всем, что нам дорого и свято. Мне казалось, что я слышу бред сумасшедшего... Наконец, когда он взглянул на меня вопросительно, я сказала ему:

— Мне нечего вам ответить; скажу только одно, что, пока вы говорили, я видела вас во власти кого-то, кто и теперь еще стоит за вашим стулом.

Он живо обернулся.

— Кто это? — почти вскрикнул он.

— Сам Люцифер, воплощение гордости, — отвечала я. Он вскочил со своего места, пораженный».

Изгонять из него беса готов был и Достоевский, заклинатель «бесов». Она показала ему однажды письма Л. Н. «Вижу еще теперь перед собою Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то! Не то!»»

Бесконечное отталкивание — и притяжение бесконечное.

«Не станем разъединяться ничем, — пишет она после отчаянной ссоры. — Вы мне так близки,

так близки, что и сказать не могу... Я на ваш счет спокойна. Начатое Божие дело в вашей душе непременно довершится. Теперь поднято только одно покрывало; затем будут подниматься, одно за другим, новые... и так до конца жизни — от силы к силе и от света к свету».

«Могу себе представить, какой истинной, а не словесной только любовью горело его сердце в то незабвенное, страшное время!» — вспоминает она 1891 год, когда Л. Н. помогал голодающим с опасностью для собственной жизни: спутник его Раевский⁷ заразился тифом и умер на руках его. Сколько бы тогда ни уверяли ее, что это «не то, не то», — она знала, что это то самое.

Однажды, после долгой разлуки, приехала в Ясную Поляну, чтобы повидать Л. Н. «Семья была в сборе, исключая хозяина, который еще не возвращался с полевой работы. Наконец, вот и он, в белой чистой холщовой рубахе, перетянутой ремнем, и с длинной полуседой бородой. Завидевши его, я всплеснула руками:

— Господи! Отец Серафим!»

И вдруг опять: «Не то! Не то!» Опять «взлетает на воздух, как мешок с порохом».

«Не сам ли злой дух, древний змий положил в

⁷ Раевский Иван Иванович (1835–1891) — помещик Тульской и Рязанской губерний, друг Толстого.

сердце его отрицание?.. Он дошел до величайшего, страшнейшего отрицания в мире, до отрицания божественности Христа».

«Страшно было видеть, как вы дерзновенной рукой вычеркивали из Евангелия все то, что не сходилось с настоящим складом вашего ума... Чудилось мне тут что-то недоброе... Мне кажется, вы вдаетесь в то уже известное учение, которое отрицает Бога-человека и признает человека-Бога».

Это — известное учение Ивана Карамазова. Письмо — от 1880 года, когда происходило сближение ее с Достоевским и когда он писал «Карамазовых». Не он ли и шептал ей эту мысль о «человекобоге», «антихристе»? То, что тогда сказано шепотом, потом возведено с кровель: Толстой — «слуга антихристов». Во время голода 1891 года «нашлись люди, которые выдавали его за антихриста», — сообщает Александра Андреевна с негодованием, забывая, что и сама она была не очень далека от этих людей. Может быть, и Достоевский согласился бы, что это люди не глупые.

Так, годы за годами, спорят они, оскорбляют друг друга, ранят, мучают. Разойтись бы, оставить друг друга в покое; но вот и разойтись не могут: чем-то связаны, для чего-то нужны друг другу. Для чего он ей нужен, легко понять: для обращения, для спасения души погибающей; но для чего она ему —

понять труднее. Ясно одно, что он ее любит больше, чем она его.

«Зачем разногласие? Не в одного Бога веруем, но под одним Богом ходим... Идите по вашему пути. Все идущие к одной цели сойдутся в ней».

Он ее вместил, принял, полюбил до конца; она его не вмещает, так же как вся Россия прошлая. Кто больше любит, тот побеждает: он любит больше — он победил, и в этой победе — победа России будущей над прошлого.

Слова разделяют их, молчанья соединяют. Думают разное, — может быть, и верят в разное, любят одно. Он всегда это знает, она только мгновениями. «Сам того не сознавая, он глубоко любит Спасителя и, конечно, чувствует в нем необыкновенного человека», — решает она в одно из таких мгновений.

Но если чувствует, то почему же не скажет? Потому что «сказать свою веру нельзя», — отвечает он так ясно, как только можно ответить словами.

В вере сказать — значит сделать, и лучше уж совсем не говорить, чем говорить, не делая.

Вся Россия прошлая сказала и не сделала; может быть, Россия будущая, не говоря, сделает?

Тут стыдливейшая тайна, глубочайшая антиномичность, противоречивость религиозного опыта. Один сказал: пойду, — и не пошел; другой

сказал: не пойду, — и пошел. Кажущееся отрицание — действительное отрицание. Тут крайности сходятся: ледяное жжет, как огненное, — ледяное нет как огненное да. Тут новое ко Христу подхождение, как бы обратное, как, может быть, вообще Второе Пришествие обратно Первому: тогда все шло от Него, теперь все к Нему идет.

«Удивительная вещь! Несмотря на все ваше желание быть доброй, и особенно ко мне, — против вашей воли прорывается непрестанная ненависть... Я, по своей дурной, ложной, дьявольской вере, ничего, кроме доброго и любовного, к вам не чувствую, а вы, по своей хорошей вере, не можете воздержаться от того, чтобы не сказать самого больного и оскорбительного, что только можно сказать человеку, именно то, что то, что есть его святыня, есть адская гордость. Я вашу веру люблю и уважаю... Но, ради всего святого для вас, поймите, что и для других есть святое».

Теперь, после смерти его, слово это как будто из вечности сказано не только ей от него, но и всей России прошлой от всей России будущей.

А вот и другое слово, тоже из вечности, — тому, кто первый отлучил его от Христа, Достоевскому:

«Насчет того, верю ли я в человека-Бога или в Бога-человека, я ничего не умею вам сказать, и если бы и умел, не сказал. Об этом скажут сожженные на кострах и сжигавшие. «Не мы ли призывали тебя, называли Господом?» — «Не знаю вас, идите прочь, творящие беззаконие!»»

И наконец, последнее слово, все решающее:

«Ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви... Я не только не отрицаю этого учения, но, если бы мне сказали: что я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким я был, или верили тому, чему учит церковь, — я бы, не задумываясь, выбрал веру по церкви. Я знаю, весь народ верит не только тому, чему учит церковь, но примешивает еще бездну суеверий, и я себя (убежденный, что верю истинно) не разделяю от бабы, верящей пятнице, и утверждаю, что мы с этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаем истину... Бабу, верующую в пятницу, я понимаю и признаю в ней истинную веру, потому что знаю, что несообразность понятия пятницы как Бога для нее существует, и она смотрит во все свои глаза и больше видеть не может. Она смотрит туда, куда надо, ищет Бога, и Бог найдет ее. И между нею и мною нет перед Богом никакой разницы, потому что мое

понятие о Боге, которое кажется мне таким высоким, в сравнении с истинным Богом так же мелко и уродливо, как и понятие бабы о пятнице... И как я чувствую себя в полном согласии с искренно верующими из народа, так точно я чувствую себя в согласии с верою по церкви. Сказать свою веру нельзя... Как только сказал, то вышло кощунство...»

Потому и вышло кощунство, что сказали, но не сделали. Догмат — не слово, а дело; если же только слово, то уж не догмат, а кощунство и ложь. Бывают времена, когда единственно возможное утверждение истины есть отрицание лжи. Вся Россия будущая — в этом отрицании. Вот почему ее ледяное нет есть огненное да. Легко сказать с творящими беззаконие: «Господи! Господи!» — но сказать не с ними трудно, почти невозможно сейчас..

Исповедания догмата о Богочеловечестве нет в словах Толстого, но оно есть в делах его, в жизни и смерти — особенно в смерти.

«Я думаю больше всего о смерти, и все с большим удовольствием... Это вот какое чувство: бывало, в первой молодости, думаешь: я верхом ездить, плавать, воевать не хуже другого, а может быть, и лучше другого могу. Теперь я начинаю чувствовать, что не только плавать и гимнастику делать, но и самую трудную штуку в жизни —

нырнуть туда — сумею не хуже другого, может быть, и лучше... И это доставляет мне особого рода строгое и тихое наслаждение. Я на все в мире смотрю с этой точки зрения. И так все на свете затихло, все такие спокойные, добрые и смиренные... Вчера я был на охоте и, измученный восьмичасовой ходьбой по болоту, пришел на квартиру к дьякону. Хозяин, 70-летний старик, рассказывал мне, как убрались с поля, как овса много, как медиста пчела; а сам старый, слабый, с пучком вылезшим седым на затылке и с старческим горбом под нанковой рясой.

— Вам сколько лет?

— Да 72-й.

— Что ж, еще годков 15 проживете?

— Да батюшка до 90 годов жил.

— А умирать не хочется?

— Грехов много, да и от суеты мирской не скоро отлепишься.

Мы помолчали. И какая суета держит его? — думал я. На крыльчке — мы сидели перед крыльцом — стояла на лавочке девочка двух лет. Дьякон подошел к ней. Весь сморщился от нежной улыбки и стал ей шептать что-то.

— Поцелуй дедуську.

Вот эта-то настоящая суета мирская, и от нее надо отлепиться. И отлепиться так, чтобы не насильно разорвать эти связи; а живой бабочкой вылететь из своей куколки».

Да, все затихло: тихость закатных лучей, золото древних икон, которым светятся лики святых.

Не говоря: Господи! Господи! — он исполнил волю Господню. Нырнул туда не хуже, а лучше других; вылетел из куколки живою бабочкой. Не слово, а дело, жизнь и смерть его — явление святости.

Для будущей России — свят, для прошлой — «анафема». Это и значит: две России.

Наука любви

Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров Болонского университета, читал диалектику, в которой он обладал столь дивным искусством, что его называли «царем силлогизмов». Но не одна диалектика, а весь круг человеческих знаний, *trivium* и *quadrivium*,⁸ был у мессера Фабрицио, как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не только в предметах важных, но и по поводу самых ничтожных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости. Студенты рассказывали, что однажды, когда ему надо было поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в аптеку Луны, — мессер Фабрицио по рассеянности написал: *nella città Antenorea, in sul forodi Вассо, all'aromataria della Dea triforme*, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в ароматарию Богини Трехликой. Так много и прекрасно говорил он на языке Туллия,⁹ что отчасти забыл язык своей матери, чем не сокрушался, ибо находил его ниже своего достоинства, и, будучи в дурном

⁸ *trivium* — цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики; *quadrivium* — цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии (*лат.*).

⁹ На языке Марка Туллия Цицерона, т. е. по-латыни.

расположении духа, выражал мнение, что «Божественная комедия» Данте в нынешний век истинного цicerоновского красноречия пригодна разве к тому, чтобы служить оберточной бумагой в колбасных лавках. Зато, когда мессер Фабрицио объяснял, как должно писать слово *consumptum*¹⁰ — с *p* или без *p*, — перед очами изумленных слушателей открывался такой кладезь учености, что самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали трепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови густые и нахмуренные, походку величественную и медленную, и никто не умел с большим достоинством носить малиновую профессорскую пелерину, подбитую заячьим мехом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова дня.

В это время в Болонском университете изучали — один каноническое, другой гражданское право — двое знатных и богатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благородному дому Савелли, закадычные друзья и приятели. Одного

¹⁰ От лат. *consumere* — расходовать.

звали Буччоло, другого Пьетро Паоло. И так как всем известно, что каноническое право по объему меньше гражданского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись лицензиатом, решил он вернуться домой — и так сказал своему товарищу:

— Любезный Пьетро, я имею лицензиат и намерен возвратиться на родину.

Пьетро возразил:

— Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одного. Пережди эту зиму. К весне я кончу, и мы можем ехать вместе. А пока, чтобы не терять времени, выбери себе какую-нибудь науку по сердцу и займись.

Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к твоему профессору, мессеру Фабрицио, и молвил так:

— Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу вас, маэстро, тем временем преподавать мне какую-нибудь еще другую прекрасную науку.

— Хорошо, — ответил маэстро, — выбери себе, какую пожелаешь, я охотно с тобою займусь.

Тогда Буччоло сказал:

— Маэстро, ежели будет на то согласие вашей милости, я желал бы изучить науку любви.

Мессер Фабрицио, услышав такую просьбу, нахмурил брови, собираясь так намылить голову

дерзкому мальчишке, чтобы у него навсегда прошла охота шутить с профессорами; но, взглянув на Бучоло, он увидел столь нежное и розовое лицо, столь простодушный и доверчивый взор, такую скромную и почтительную улыбку, что латинское ругательство замерло на его губах, ему вспомнилось что-то старое, приятное и веселое, не относившееся ни к силлогизмам, ни к грамматике Присциана и Доната; ¹¹ он тоже улыбнулся и ответил ученику:

— Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы более мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье в церковь миноритов, к заутрене, когда туда собираются женщины со всего города, и поищи, не найдешь ли такой, которая тебе понравится. Если найдешь, следуй за ней издалека, пока не узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мне. Вот тебе первый урок, исполни его в точности.

Бучоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в церковь и стал внимательно рассматривать лица женщин, которых туда собралось немало.

Более всех понравилась ему одна дама, одаренная лукавою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Бучоло последовал за нею,

¹¹ Присциан — римский грамматик VI в. Донат — римский грамматик и ритор IV в.

заметил дом, в котором она жила, из чего дама заключила, что студент намерен ухаживать за нею.

Потом вернулся к маэстро и сказал:

— Я исполнил первый урок и нашел даму, которая мне нравится.

Мессеру Фабрицио все это казалось презабавным, ибо втайне он подсмеивался над простодушным Бучоло и наукою, которой он желал учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил он:

— Теперь следует тебе раза два или три в течение дня пройтись перед ее окнами — только держи себя скромно и прилично. Смотри на нее украдкою, так, чтобы никто не заметил, и только дама могла понять, что ты в нее влюблен. Потом возвращайся ко мне. Это — второй урок.

Бучоло простился с учителем, пошел на улицу, где жила его возлюбленная, и начал прохаживаться перед домом, соблюдая благоразумную осторожность, но все же так, чтобы она могла заметить, что он делает это ради нее. Дама увидела его. Бучоло несколько раз поклонился ей с изысканной вежливостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заключил, что она к нему благосклонна. Тотчас же пошел он и сообщил об этом учителю, который, выслушав его, сказал:

— Прекрасно. Я тобою доволен. До сих пор все идет как по маслу. Теперь ты должен ей подослать одну из уличных разносчиц, которые торгуют в Болонье кружевом, кошельками, лентами и другим модным товаром. Вели передать своей даме, что ты во всем, чего бы она ни пожелала, готов ей служить, что никого на земле не любишь более, чем ее, и что отныне ты намерен быть ей верным рабом. Подожди ответа, потом возвращайся ко мне: я научу тебя, что следует делать далее.

Буччоло пошел, не тратя времени, отыскал услужливую старую женщину, весьма опытную в делах подобного рода, и молвил:

— Вы можете оказать мне большую услугу. Я заплачу так, что вы останетесь довольны.

Разносчица ответила:

— Я сделаю все, что вам угодно, ибо живу трудами рук моих, как честная женщина.

Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:

— Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет молодая женщина по имени мадонна Джованна, в которую я влюблен. Передайте ей, что я — верный раб ее и готов исполнить всякое ее желание. Выразите все это самыми нежными и уветливыми словами, какие сумеете придумать.

Старуха ответила:

— Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой Марии Девы мы так обделаем это

дельце, что вы будете довольны, еще другой раз придете ко мне. Главное — выбрать подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботиться.

— Ступайте же, — молвил Буччоло, — я подожду здесь.

Разносчица отправилась с корзиною товара на улицу Маскарелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у двери, поздоровалась и сказала:

— Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего товара. Берите смело все, что понравится.

Старуха под села к ней и начала показывать ленты, кисею, кошельки, пояса, ножницы, зеркала и тому подобные вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился ей один кошелек, и она сказала:

— Если бы у меня были деньги, я охотно купила бы этот кошелек.

Старуха возразила:

— Мадонна, стоит ли заботиться о таких пустяках. Говорю вам, берите из моего хлама все, что понравится. Мне уже заплачено.

Дама удивилась и, желая объяснить любезность старухи, спросила:

— Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что значат эти слова?

Тогда разносчица повела свою речь тихим голосом:

— Сейчас я вам все объясню, мадонна. Один юноша, по имени Буччоло, послал меня к вам. Он любит вас и предан вам всею душою. Нет, говорит на свете такого трудного и опасного дела, которого бы я не предпринял с радостью, чтобы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно было повелеть мне что-нибудь. А сам так и плачет, заливаясь, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный час молитвы моей Царица Небесная, да разразит меня гром на этом месте, ежели я в чем-нибудь солгала и когда-либо в моей жизни видела более прекрасного и благородного юношу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспыхнуло.

— О, если бы только язык мой не удерживала скромность, я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к честной женщине! Да накажет тебя Господь!

И, молвив так, вынула из петель двери деревянный шест, служивший запором, и хотела ее ударить.

Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде почувствовала себя в безопасности, чем вернулась к Буччоло.

— Ну что, как? — спросил он, увидев ее.

— Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя. Никогда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если бы поскорей не утнула, пришлось бы старым костям моим отведавать палки. Не знаю, как вы, мессер Буччоло, но что до меня, то ни за какие деньги я больше к ней не пойду, да и вам не советую.

Буччоло весьма огорчился, немедленно пошел к своему учителю и поведал ему все, что случилось.

Мессер Фабрицио утешил его и сказал:

— Успокойся, Буччоло. Ни одно дерево не валится с первого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, какое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мне.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной. Только что она его увидела, как позвала служанку и приказала:

— Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от моего имени, чтобы он непременно приходил ко мне сегодня вечером.

Улива подошла к нему и молвила:

— Мессере, мадонна Джованна очень просит вас пожаловать к ней сегодня вечером, так как она желает с вами говорить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответил:

— Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью приду.

Затем поскорее вернулся к Фабрицио. Профессор тоже удивился и спросил:

— На какой улице живет твоя дама?

— На улице Маскарелла.

— А как имя служанки?

— Не знаю. Она такая высокая, худая, черная, хромает на левую ногу...

— Клянусь Геркулесом, — Улива! — пролепетал себе под нос профессор, краснея, как рак.

— Что вы хотели сказать, маэстро? — спросил Буччоло.

Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него из-под ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы, чтобы перенести последний удар и боясь, чтобы Буччоло не назвал ему мадонны Джованны, его собственной жены, он не решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев профессор ночевал в здании университета, чтобы иметь возможность читать лекции студентам и в ночные часы, так что мадонна Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

— Ты пойдешь на свидание, Буччоло?

— Конечно.

— Прошу тебя, зайди ко мне и скажи, когда соберешься.

Буччоло молвил: «Хорошо!» и удалился. Маэстро заключил по его виду и словам, что он

ничего не подозревает.

«Я не желаю, — подумал мессер Фабрицио, — чтобы он учился этой науке на мой счет».

Вечером пришел Буччоло.

— Маэстро, мне пора.

— Ступай и будь осторожен.

— О, вы можете на меня положиться.

На груди имел он толстый панцирь, острый меч под мышкой и длинный кинжал при бедре, — словом, принял все предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио последовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он подошел к двери своей дамы, и только что постучался, она отперла и впустила его. Профессор, убедившись собственными глазами, что возлюбленная Буччоло — мадонна Джованна, его жена, пришел в неописанную ярость.

— Клянусь Минервою, теперь уже нет никакого сомнения, что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицио побежал назад в здание университета, взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намереваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем временем сидела со своим возлюбленным у очага и, услышав стук, догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку, повела в соседнюю комнату и

спрятала под грудой мокрого белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери и спросила «Кто там?»

Маэстро кричал:

— Отопри, отопри же, негодная!

Джованна отперла и, увидев профессора вооруженным, воскликнула:

— Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?

Он не унимался и вопил еще громче:

— Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.

— О, я несчастная, — воскликнула Джованна, — что вы говорите? В своем ли вы уме? Обыщите весь дом и если кого-нибудь найдете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, какой стыд. Боже мой! Стоит быть верной женой. Расспросите соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности и добродетели. Еще недавно сюда приходила старуха... Но зачем говорить?.. Ежели вам померещилось недоброе, оградите себя крестом и молитвой от наваждения лукавого, который ищет погубить вашу душу.

Маэстро велел зажечь свечу и начал искать в погребе между бочками потом вышел в комнаты, обшарил их, посмотрел под кроватью, проколол мечом соломенный матрац в различных местах, — словом, не оставил в доме мышинной норы необысканной, но Буччоло не нашел. Мадонна

Джованна ходила за ним со свечой в руках и повторяла:

— Дорогой маэстро, опомнитесь, сотворите же крестное знамение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает вас, и вам померещилось такое, что стыдно сказать; знайте, что если бы хоть один волос на голове моей пожелал чего-нибудь подобного, то я наложила бы на себя руки. Маэстро, заклинаю вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению лукавого!

Не находя Бучоло и слыша непрерывные увещания супруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу и вернулся в школу.

А мадонна Джованна тотчас заперла дверь на задвижку, вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий огонь в очаге, на котором зажарила молочного поросенка, и принесла из погреба различных вин. Они стали пить, есть, веселиться и во взаимных ласках провели ночь. Когда же наступило утро, Бучоло сказал:

— Мадонна, я должен проститься с вами. Не будет ли вашей милости угодно приказать мне что-нибудь?

— О да, — молвила она, обнимая и целуя его с нежностью, — моей милости угодно, чтобы ты пришел ко мне сегодня вечером.

Бучоло обещал прийти, вернулся в школу и молвил учителю:

— Я имею нечто рассказать, что вас позабавит.

— Говори. Я слушаю.

— Вчера вечером, — произнес Буччоло, — когда я был в доме моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыскивает весь дом и ничего не находит. Она спрятала меня под кучей мокрого белья и так ловко умела обойти его, что глупый поверил и ушел. А мы остались с ней наедине, поужинали молочным поросенком, отведали множество тонких вин, и могу вас уверить, маэстро, что нам было пресвесело и что эта наука любви кажется мне самой любезной и забавной из всех наук, так что, по моему разумению, никакая другая не может с нею сравняться. Право, я уж и не знаю, как вас благодарить, дорогой учитель!.. А теперь, с вашего позволения, я пойду немного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал сегодня вечером прийти к ней опять.

Мессер Фабрицио молвил:

— Когда соберешься, зайди ко мне и скажи.

— С удовольствием, — ответил Буччоло и пошел спать. Профессор был вне себя от ярости; пробовал читать лекцию, но вместо силлогизмов у него выходили такие глупости, что он поскорее сошел с кафедры, сказавшись больным. Сердце его пожирала ревность, и весь день он мечтал о том, как поймает Буччоло и накажет его. У старого

ландскнехта, имевшего оружейную лавочку в соседнем переулке, взял он напрокат заржавленный панцирь и допотопный шлем с забралом. Когда наступил вечер, к мессеру Фабрицио пришел беззаботный Бучоло и объявил:

— Я иду.

— Ступай, ступай, — возразил маэстро, — да не забудь прийти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.

— Не беспокойтесь, приду, — молвил Бучоло и отправился к даме.

А маэстро тем временем, надев панцирь и шлем, пошел за ним по пятам, намереваясь схватить его у дверей дома. Но Джованна ожидала возлюбленного, поспешно впустила его и заперла дверь. Тотчас же затем пришел маэстро и начал бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед своим возлюбленным, заслонив его собою, отперла дверь и одной рукой обняла мужа, между тем как другой выпроводила Бучоло так ловко и быстро, что маэстро ничего не заметил, и принялась кричать:

— Помогите! Помогите! Маэстро сошел с ума!

И она крепко обнимала его, не выпуская. Бучоло не узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его, спрятанного забралом. Соседи сбежались на шум и, видя профессора

вооруженным в несвойственный ему панцирь и шлем, слыша, как супруга его кричала: «Держите его, он помешался от чрезмерных ученых занятий!» — поверили и решили, что мессер Фабрицио не в своем уме. Соболезнуя, приступили они к нему.

— Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключилось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохните как следует и впредь не утомляйте мозга чрезмерными трудами. Хотя мы люди неученые, но советуем вам от доброго сердца: право же, успокойтесь, маэстро.

— Да как же мне успокоиться, — вопил мессер Фабрицио, — когда я видел собственными глазами, как эта негодная впустила в дом любовника!

— Любовника! — воскликнула мадонна Джованна, — о, я несчастная! Да спросите же этих добрых людей, случалось ли им примечать, чтобы я в чем-нибудь провинилась перед вами!

Тогда все мужчины и женщины ответили в один голос:

— Маэстро, выбросьте из головы этот вздор — ибо не было и не будет на свете женщины более скромной и добродетельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем достоверно.

— Ничего вы не знаете! — кричал маэстро, — я говорю вам, что собственными глазами видел любовника, и знаю, что он теперь в моем доме.

В это время подросли двое братьев мадонны Джованны. Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала:

— Милые братья, мой муж сошел с ума и хочет убить меня. Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника, — как это вам нравится? Вы ведь знаете, что я не такая женщина и не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскорбления.

Тогда братья сказали:

— Мы удивляемся, что вы смеее называть нашу сестру негодною женщиной. Сколько лет жили вы с нею в добром согласии? Что же сегодня приключилось и за что вы на нее в такой ярости?

— Я видел любовника, — твердил мессер Фабрицио, — я видел его собственными глазами!

— Хорошо, — возразили братья, — поищем. И если найдем, накажем ее так, что вы останетесь довольны.

Один из них отозвал сестру в сторону и спросил:

— Скажи правду, есть ли в доме мужчина?

— Что ты говоришь, — воскликнула мадонна Джованна, — как тебе не стыдно спрашивать об этом! Избави меня Боже от такого позора. Я согласилась бы лучше тысячи раз умереть, чем сделать или даже подумать что-либо подобное.

Эти слова вполне успокоили братьев, и вместе с мессером Фабрицио начали они обыскивать дом.

Маэстро увидел кучу белья, ринулся на нее и стал колоть мечом с такою яростью, как будто это был сам Бучоло, ибо думал, что он спрятан в белье.

— Ну, вот видите, — всплеснула руками Джованна, — не говорила ли я вам, что он рехнулся? Разве это не явное сумасшествие — портить собственное добро, которое не сделало ему никакого вреда?

Братья обыскали дом, ничего не нашли и убедились, что маэстро в самом деле не в своем уме.

Один произнес:

— Он помешался.

Другой прибавил:

— Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были очень неправы, называя нашу сестру негодною женщиной.

Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не мог сомневаться в том, что видел собственными глазами, и начал осыпать их жестокою бранью, причем все время держал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схватили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позвали врача: он прописал микстуру, велел положить на голову больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посоветовал, чтобы никто с ним не говорил, не отвечал на его

вопросы и чтобы его держали на диете, пока ему не станет лучше. Все это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестный слух, что мессер Фабрицио, знаменитый доктор диалектики, «царь силлогизмов», сошел с ума. Все принимали в нем участие. Студенты говорили между собою:

— А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в себе. Помните, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо у него было странное.

Многие втайне злорадствовали:

— Вот к чему приводит людей излишняя ученость. Того и гляди лукавый попутает.

Студенты решили навестить больного профессора. Буччоло, ничего не зная, пришел в университет, чтобы рассказать мессеру Фабрицио свои новые приключения. Но здесь сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивился, весьма был огорчен и вместе с товарищами пошел навестить больного. Когда же увидел, куда они идут и в чей дом, — недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, поняв все, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы никто не заметил его смущения, вошел с товарищами в дом и увидел мессера Фабрицио на постели, обложенного ледяными примочками, связанного и бледного. Студенты стали поочередно подходить к профессору и выразить ему участие и

соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он приблизился к мессеру Фабрицио и сказал:

— Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного отца, а потому, если могу сделать что-нибудь угодное, приказывайте мне, как сыну.

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно молвил в ответ:

— Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой счет поучился, хотя, сказать правду, и меня кое-чему выучил.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:

— Не обращайтесь внимания на его слова: он бредит.

А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло и молвил:

— Брат, будь счастлив. Я столькому здесь научился, что у меня прошла охота учиться более.

С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь и благополучно приехал в Рим.